

УДК 821.161  
ББК 84(2Рос=Рус)  
Р41

Дизайн обложки *Алексея Родюшкина*

**Репин, Илья Ефимович**

Р41 Мои восторги / Илья Ефимович Репин. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 448 с.: ил. — (Страницы жизни).

ISBN 978-5-17-165589-1

Илья Репин был блестящим портретистом и «живописцем русской души». Он жил во времена великих перемен в российской истории — от отмены крепостного права до прихода к власти большевиков. Эти события несомненно повлияли на его творчество, ведь в своих картинах художник-реалист стремился отразить индивидуальный характер эпохи.

«Мои восторги» — сборник автобиографических очерков о том, «каким образом в мальчике Репине впервые пробудилось влечение к искусству, под каким влиянием, в какой обстановке он обучался своему мастерству в провинции и в Петербургской Академии художеств и как написал картины, давшие ему всероссийскую славу».

В книге также представлены статьи художника об известных деятелях русской литературы и искусства. Благодаря мастерству диалога Репина перед нами, словно живые, предстают его современники, друзья и коллеги.

Издание дополнено оригинальными эскизами и картинами художника.

**УДК 821.161**  
**ББК 84(2Рос=Рус)**

---

# ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЕТСТВА

1844—1854

---

## I      Обезд диких лошадей. — Калмык

В украинском военном поселении, в городе Чугуеве, в пригородной слободе Осиновке, на улице Калмыцкой, наш дом считался богатым. Хлебопашеством Репины не занимались, а состояли на положении торговцев и промышленников. У нас был постоянный двор.

Домом правила бабушка. Широко замотанная черным платком, из-под которого виден был только бледный крупный нос, она с раннего утра уже ворчала и бранилась с работниками и работницами, переворачивая кадки и громадные чугуны, проветривавшиеся на дворе.

Кругом большого светлого двора громоздились сараи, заставленные лошадьми и телегами заезжего люда. Повсюду стояла грязь, коричневые лужи и кучи навоза.

Днем широкие ворота на Калмыцкую улицу оставались открытыми, и через них поминутно въезжали и выезжали чужие, проезжие люди. Становились как попало на дворе или в сараях и хозяйничали у своих телег: подпирали их дугами, снимали и подмазыва-

ли дегтем колеса черными квачами\* из мазниц. Лошади с грубой дерзостью таскали из рептухов\*\* сено, большая часть его падала им под ноги, в навоз, за-тапывалась.

Отец мой, билетный солдат, с дядей Иваней занимались торговлей лошадьми и в хозяйство не мешались.

Каждую весну они отправлялись в «Донщину» и приводили оттуда табун диких лошадей.

На месте, в степях, у богатых донских казаков-атаманов, лошади плодились круглый год на подножном корму и потому стоили дешево (три-пять рублей за голову), но пригнать из-за трехсот верст верхом и объездить дикую лошадь составляло серьезное и трудное дело. Отец говорил:

— Тут без помощи калмыков ничего не выйдет, одно несчастье!

Дядя Иваня, вечно на коне, в шапке-кучме (папахе), был черен, как черкес, и ездил не хуже их, но калмыкам удивлялся и он. Калмык с лошадей — одна душа. Опрометью бросившись на лошадь, вдруг он гикнет на табун так зычно, что у лошадей ушки на макушке и они с дрожью замрут, ждут его взмаха нагайкой, в конце которой в ремне вшита пуля. Одним ударом такой нагайки можно убить человека.

У нас на Руси широки столбовые дороги, есть где табуну пастись на даровой траве и отдохнуть всю ночь. Но боже упаси заснуть погонщику близ яровых хлебов! Дикие кони тихой иноходью — уже там, в овсах, и выбивают косяк чужого хлеба.

Проснулись хохлы-сторожа, с дубинами и кольями бегут загонять табун... Поди выкупей! Калмык убил бы себя нагайкой в лоб за такую оплошность. Привя-

---

\* Квач — самодельный помазок для дегтя из тряпки, намотанной на конец палки. (Здесь и далее примечания редактора, если не указано иное.)

\*\* Рептух — мешок из грубой ткани, использующийся как кормушка с зерном или сеном.

занный к его ноге горбоносый донец заржет вовремя и так дернет крепко спящего хозяина, таща его по кочкам к табуну, что только мертвец не проснется. Как лошадиный хвост от комаров, калмык взмахнется на своего поджарого и так зычно гикнет на лету на лошадей, что самому ему останется только исчезнуть в облаке черноземной пыли, взбитой табунном. А хохлы с дубинами долго еще стоят, разинув рот. Наконец перекрестятся:

— Оце, мабудь, сам чортяка! А хай йому бис!.. Нечиста сила!\*

В углу нашего двора были широкие ворота на пустошь, которая оканчивалась кручей к Донцу, заваленной целыми горами лошадиного навоза. Что было бы здесь, если бы в половодье Донец не уносил своим течением всего этого «золота» вместе с обвалившимися берегами кручи! Посредине пустоши был врыт крепкий столб. Сюда загоняли табун и здесь начинали учить диких лошадей житейской добродетели в оглоблях и седле.

При малейшем беспокойстве лошади неслись в какой-нибудь угол пустоши и там сбивались в каре. Дружно, головами вместе, они начинали так энергично давать козелки задними ногами, что комки земли и навоза далеко отлетали в лица подходящим. С косьми огненными взглядами и грозным храпом, степняки казались чудовищами, к ним невозможно было подступить — убьют!

Но у калмыка аркан уже методически свернут кольцами. И вот веревка змейкой полетела к наменной голове, по шее скатилась до надлежащего места, и чудовище в петле. Длинный аркан привязывают к столбу и начинают полегоньку отделять дикую от общества, подтягивая ее к центру двора. Любезностями на конском языке междометий ее стараются успокоить, обласкасть! Но чем ближе притягивают ее к стол-

---

\* Это, должно быть, сам черт! А бес с ним!.. Нечистая сила! (укр.)

бу, тем бешенее становятся ее дикие прыжки и тем энергичнее старается она оборвать веревку: то подскакивает на дыбы, то подбрасывает задними копытами в воздухе. И кажется, что из раздутых красных ноздрей она фыркает огнем.

До столба осталось уже не больше сажени. Конь в последний раз взвился особенно высоко на дыбы, и, когда он стал опускаться, калмык вдруг бросился ему прямо в объятия, повис на шее и, извернувшись, в один миг уже сидел на его хребте. Тогда с обеих сторон схватились за гриву наши работники, повисли на ней и стали подбивать в чувствительные места под передние ноги. Лошадь пала на колени, и голова ее очутилась во власти третьего работника: он захватил ее верхнюю губу, зажал и, завязав между особо приспособленными деревяшками, начал ее закручивать. Оскалились длинные белые зубы, открылись десны, и лошадь оцепенела от боли и насилия. Ей наложили на спину седло, продели под живот подпруги, затянули крепко пряжки, а калмык уже разбирает казацкие стремяна, сидя на высоком седле. Несут и уздечку, продели между зубов удила (трэнзель), чтобы лошадь не закусила...

— Отвяжьте аркан! — командует калмык пересохшим голосом.

Аркан сняли с потемневшей шеи, и работники миготом отскочили в разные стороны. Лошадь уже лежала под калмыком, тяжело дыша.

Калмык взмахнул в воздухе нагайкой, и конь подскочил, встряхнулся.

И вдруг стал извиваться змеей и метаться в разные стороны, стараясь стряхнуть с себя седока; и опять начались дикие прыжки, взвивание на дыбы и козелки, чтобы сбросить непривычную тяжесть.

Калмык крепко зажал коня икрами в шенкеля и повернул его к воротам. «Отворяй ворота!» — визжит калмык. Нагайка свистнула, и конь мгновенно получил с одного маху по удару с обеих сторон по крупу. Он прыгнул вперед и понесся в ворота.

Калмык гикнул на всю улицу, эхо отозвалось в лесу за Донцом. Пешеходы отскочили в испуге, бабы стали креститься, дети весело завизжали. Калмык стрелой понесся по большой дороге мимо кузниц, за Донец. Скоро и след его простыл, только столб пыли висит еще в воздухе.

Часа через четыре никто не узнал бы возвращавшегося к нашим воротам калмыка. Лошадь плелась пошатываясь, опустив мокрую голову с прилипшей к шее гривой; она была совсем темная. Калмык сидел спокойно и сосал свою коротенькую трубочку, подняв плоское лицо кверху; глаза его, «прорезанные осой», казалось, спали.

Хорошо обошлась школа, добрый конь будет.

Но не всегда объездка проходила так удачно. Однажды калмык не «спапашился» и, кинувшись на шею взвившейся на дыбы лошади, угодил лицом на переднее копыто. Широкое лицо его мигом залилось кровью, но калмык не опешил: отплеываясь собственной кровью, он умело барахтался между ногами лошади, и привычно пролез на спину коня, и уселся верхом как следует, но в каком виде!.. Лошадь, очевидно, была бешеная, движения ее были сумасшедшие и сбивали с толку опытного калмыка. Застыв на минуту под всадником, дикое животное вдруг выкинуло такой зигзаг, что всадник едва не слетел и удержался только за гриву, а лошадь с размаху рухнула к столбу... Внутри у нее что-то лопнуло, горлом хлынула алая кровь, и она пала. Кстати, и калмыку необходимо было слезть и сделать себе перевязку: через нос и скулу у него шла глубокая рана и сочилась черной кровью.

При этой оказии я, бросившись в сторону, упал лицом в землю и набрал себе полон рот песку. Гришка Копьев, наш работник, взял меня на руки, своей корявой рукой вытер мне лицо и пальцем вычистил песок из моего рта. И его рыжая веснушчатая рука, и сам он мне очень нравились. Мне так было весело и спокойно сидеть у него на руках и смотреть на все

свысока! Я близко разглядывал его рыжую бородку, скобку волос и широкую скулу. Но на зубах у меня еще трещала земля.

Гришку я любил; он ездил верхом не хуже калмыка и нисколько не боялся лошадей. Раз на вороном жеребце — того на цепях выводили, — когда конь поднялся на дыбы, Гришка так огрел его кулаком между ушей, что жеребец даже на передние ноги сел. Я бывал счастлив, когда Гришка брал меня верхом на водопой. Сижусь я перед ним на холке коня и замираю от ужаса, когда конь идет в глубокую бездну воды: бездонная пропасть казалась мне ужасной. Облака! Но вот на дне облака заколыхались, лошадь стала бить ногой по воде. Кругом запенилось. Как весело! Брызги летят до самого лица — приятно, и страх провалиться вниз, в облака, прошел.

Когда табун угоняли на ярмарку, чумаки на этой пустоши варили себе кашу, и тут же лежали их волю, пережевывая жвачку и тяжело дыша.

Нам, детям, очень нравилось смотреть на их котелок, висящий на кольях, в треугольнике, когда под ним так весело горит огонек и стелется к Донцу голубой дымок. Лица у чумаков так черны, что даже огонек их не освещает; и рубахи их и «штаны» вымазаны дегтем. «От так здоровіше»\*, — говорили они. И руки коричневые, только ногти да зубы белые.

Мы с сестрой Устей долго их боялись и не подходили близко, хотя бегали около, играя в коня. Я держал веревочку в зубах и старался прыгать, как дикая лошадь. Устя была за кучера.

Видим, один чумака ласково улыбнулся белыми зубами и протянул нам хорошую светлую веревочку. Я взял ее в зубы вместо своей, она была очень вкусна — совсем тарань, соленая. Они везли тарань из Крыма.

— Вы это сами кашу себе варите? — спросила Устя. — Разве вы умеете?

---

\* «Вот так здоровей» (укр.).

— А хибя ж! Оце... Та й дурень кашу зварить, як пшено та сало\*.

И чумак дал нам попробовать горячей, дымящейся каши из огромной деревянной ложки, отвязав ее от пояса.

— Ай как вкусно! — сказала Устя. — Попробуй!

Я едва достал из глубокой ложки и хотел уже пальцами доставать остатки — так вкусно! Чудо!

— А пострівай, хлопче, я тобі ще зачерпну\*\*.

Я обжигался, но не мог оторваться...

Днем, укрываясь от солнца, чумаки лежали под телегой с таранью, среди двора, и ели чухоню — огромную светлую соленую рыбу. Заверотив книзу чешуйчатую кожу, чумак с наслаждением смаковал ее понемногу, прикусывая черный хлеб громадными кусками.

— А разве чухоня вкусная? — спросила Устя.

Я стоял за ее спиной и удивлялся ее смелости.

— Эге ж! Та як чухоня гарна, та хліб м'який, так геть таки хунтова\*\*\*.

Фунтовой рыбой назывались осетрина, белуга, севрюга, продававшиеся по фунтам. Тарань продавалась вязанками, а чухоня — поштучно.

## II Военное поселение

Некоторые пишущие о художниках называли меня казаком — много чести. Я родился военным поселенцем украинского военного поселения. Это звание очень презренное: ниже поселян считались разве еще крепостные. О чугуевских казаках я только

---

\* А как же! Это... Да и дурак кашу сварит, если есть пшено и сало (укр.).

\*\* Подожди-ка, парень, я тебе еще зачерпну (укр.).

\*\*\* А то! Да если хорошая чухоня и мягкий хлеб, куда уж фунтовой.

слыхал от дедов и бабок. И рассказы-то все были уже о последних днях нашего казачества. Казаков перестроили в военных поселян.

О введении военного поселения бабушка Егупьевна рассказывала часто, вспоминая, как казаки наши выступили в поход прогонять «хранцуза» «аж до самого Парижа», как казаки брали Париж и уже везли домой оттуда кто «микидом», кто «мусиндиле» и шелку на платья своим хозяйкам.

А на русской границе — хлоп! как обухом по лбу! — их поздравили уланами. Уланам назначили новых начальников, ввели солдатскую муштру. Пока казаков не было дома, их казацкие обиходы в Чугуеве все были переделаны. Часто рассказывала бабушка о начале военного поселения — как узнала она от соседки Кончихи, что город весь с ночи обложен был солдатами. «Верно, опять хранцуз победил, — догадывались казаки, — и наступает на Чугуев. Хранцуз дурак. Сказали вить ему, что чугунный город, а у нас одни плетни были. Смех!»

Бабы напекли блинов и понесли своим защитникам-солдатушкам: «Может, и наших в походе кто покормит». Но солдаты грубо прогнали их: «Подите прочь, бабы! Мы воевать пришли. Начальство, вишь, приказало не допускать: казачки могут отраву принести».

В недоумении стали мирные жители собираться кучками, чтобы разгадать: солдат сказал, что и «город сожгут, если будете бунтовать». Стояли мирно, озабоченные, и толковали: «Вот оказия!»

К толкующим растерянными простакам быстро налетали пришлые полицейские и патрули солдат, требовали выдачи бунтовщиков. Большинство робко пятилось. Но казаки — народ вольный, военный, виды видали, а полиции еще не знали.

— Каки таки бунтовщики? Мы вольные казаки, а ты что за спрос?

— Не тыкай — видишь, меня царь пуговицами потыкал. Взять его, это бунтовщик!

Смельчаков хватали, пытали, но так как им оговаривать было некого, то и засекали до смерти.

Такого еще не бывало... Уныние, страхи пошли. Но местами стали и бунтовать. Бойкие мужики часто рассказывали о бунтах, захлебываясь от задору. Особенно отличалась Балаклея, а за нею Шебелинка. Казачество селилось на возвышенностях; и Чугуев наш стоит на горе, спускаясь кручами к Донцу, и Шебелинка вся на горе. Шебелинцы загородились телегами, санями, сохами, боровами и стали пускать с разгону колесами в артиллерию и кавалерию, подступившую снизу.

— А-а! Греби его колесом по поясице! — кричали с горы расходившиеся удалцы. — Не могём семисотную команду кормить!

Развивая скорость по ровной дороге, колеса одно за другим врезывались о передние ряды войска и расстраивали образцовых аракеевцев. Полковник командовал:

— Выстрелить для острастки холостыми!

Куда! Только раззадорились храбрецы.

— Не бере ваша подлая крупа — за нас Бог! Мы заговор знаем от ваших пуль. Не дощулишь!

Но когда картечь уложила одну-две дороги людьми, поднялся вой... отчаяние... И — горе побежденным... Началось засекание до смерти и все прелести восточных завоевателей.

Отец мой уже служил рядовым в Чугуевском уланском полку, а я родился военным поселянином и с 1848 по 1857 год был живым свидетелем этого казенного крепостничества. Началось с того, что вольных казаков организовали в рабочие команды и стали выгонять на работы.

Прежде всего строили фахверковые\* казармы для солдат. Нашлось тут дело и бабам, и девкам,

---

\* *Фахверк* — каркасная конструкция из железных или деревянных балок, видных снаружи, с промежутками, заложеными кирпичами.

и подросткам. Для постройки хозяйственным способом из кирпича целого города Чугуева основались громадные кирпичные заводы. Глины кругом сколько угодно, руки даровые — дело пошло быстро.

Из прежних вольных, случайных, кривых чугуевских переулков, утопавших во фруктовых садах, планировались правильные широкие улицы, вырубались фруктовые деревья и виноградники, замаскировались булыжником мостовые циклопической кладки — Никитинской и широкой Дворянской улиц.

Бабы по ночам выли и причитали по своим родным уголкам, отходившим под казенные постройки, квартиры начальству, деловые дворы, рабочие роты и воловьих парки.

Я увидел свет в поселении, уже вполне отстроенном; я любовался уже и генеральными смотрами «хозяевам» и «нехозяевам», производимыми графом Никитиным.

На Никитинской, Дворянской и Харьковской улицах каменные хатки для хозяев были как одна. Выстроены, выкрашены *al fresco*\* наличниками; и так они были похожи одна на другую, что даже голуби ошибались и залетали в чужие дворы. Залинейные домики для «нехозяев» были бревенчатые и столь же однообразные, как и хозяйские на линии.

Инспектор резервной кавалерии граф Никитин был высокий, костистый, сутуловатый старик. Окруженный своим штабом, он стоял на крыльце Никитинского дворца, а перед ним дефилировали «хозяева» города Чугуева и пригородных слобод: Калмыцкой, Смыколки, Зачуговки, Пристена, Осинки и Башкировки.

Мы, мальчишки, взбирались на пирамидальные тополя, росшие на плацу, чтобы лучше видеть и графа Никитина, и проходившее перед ним военное парадное. И кругом плаца, и далеко по Никитинской ули-

---

\* *Alfresco* — в технике фрески (итал.) — роспись по сырой штукатурке.

це уходили вдаль серые группы запряженных телег с торчащими дреколями и сошниками, блестящими на солнце.

Разумеется, в первые очереди ставили зажиточных хозяев, с новой сбруей на добрых лошадях, с прочными земледельческими орудиями. Мы знали всех.

Вот тронулись Пушкаревы. Отец сидит на передке в форменной серой арестантской фуражке, в серой свитке (армяке); лицо бледное, злое (наряда своего не любят поселяне; в сундуках у них лежали свитки тонкого синего сукна, и в церковь они шли одетые не хуже мещан). На задке у Пушкарева, «нехозяином» по форме, сидит Сашка Намрин — бобыль. Лентяй, я его знаю: он у нас в рабочих жил (лошадей боялся); ослабил на нас своими деснами, и выбитый зуб виден. Пара лошадей — сытые, играют, борона новая, спицы толстые, багры длинные, струганые, вилы, косы, молотильные цепи, все по форме, все прилажено ловко и крепко; сошники у сохи длинные, не обтерухи какие, весело блестя.

Сашка корчит из себя заправского солдата; серый армяк у него аккуратно сложен, как солдатская амуниция, пристегнут через плечо, серая фуражка: арестант — две капли воды.

Поравнялись, им скомандовали что-то с балкона — затарахтели рысью.

За ними едут Костромитины. Старик Костромитин осунулся в воротник, глаза, как у волка, из-под нависших бровей; вожжи подобрал, пристяжная играет.

— Молодец Костромитин! — мямлит ласково граф Никитин. — Рысцой с Богом!

Загрохотали и эти, блестя толстыми шинами колеса.

Проехали Воскобойниковы на пегих — тоже хорошо. Вот и Заховаевы, староверы. Заховаев — хозяин добрый. Всю семью свою любит, даже на улице детей своих целует. И теперь веселый, красивый; черная окладистая борода. Тройка гнедых — сытая, кнута не пробовала. На облучке сзади Локтюшка с козлиной бородкой; этому далеко до солдата.

Проезжают, проезжают — сколько их!.. Переродовы, Субочевы, Бродниковы, Раздорские... Всех не переименовать.

А вот Юдины. Эти — бедные, они недалеко от нас живут: лошаденки тощие, маленькие, сбруя веревочная, все снаряды рвань и дрянь... Так. Его записывают: разжалуют его в «нехозяева»... Они лентяи: когда ни заглянешь к ним, всегда лежат на печке; наша работница Доняшка говорила, что с горя «взяться им не за что». А вот и Ганусов! «Калмык дикий», и его прозвание — лютый; он да Зорины из калмыков, говорят, крестились; хозяева они зажиточные, всего вдоволь.

Граф Никитин добрый: он не велел нас, мальчишек, прогонять с тополя, а под нашими ногами, против его дворца, много зрителей — всё мещане и торговцы. Поселяне ненавидят эти смотры, и никто из родственников не пойдет смотреть на позор своих, которых нарядили арестантами напоказ всему миру: гадко смотреть.

За нарядами поселян начальство смотрело строго: поселянки не смели носить шелку. Раз на улице, в праздник, ефрейтор Середа при всех сорвал шелковый платок с головы Ольги Костромитиной — девки из богатого дома — и на соседнем дворе Байрана изрубил его топором.

Девки разбежались с визгом по хатам; улица опустела. Мужики долго стояли истуканами. И только когда Середа скрылся, стали всё громче ворчать: «Что это? Зачем же этакое добро нівечить?»\* Надо жаловаться на него. Да кому? Ведь это начальство приказало, чтобы поселянки не смели щеголять. Шелка, вишь, для господ только делаются!»

Если бы вы видели, какой противный был Середа: глаза впалые, злые, нос закорючкой ложится на усища, торчащие вперед. Мальчишки его ненавидят и дразнят: «руль». Вот он бесится, когда услышит! Раз он за Дудырем страшно гонялся с палкой. Кричит:

---

\* *Нівечить* — портить (укр.).

«Я тее внистожу!» Дудырь кубарем слетел под кручу к Донцу, а Середа сверху бегаёт и бросает в мальчишку камнями. «Я тее внистожу!» — повторяет как бешеный, а сам страшный!

Досталось и ему однажды, но об этом после.

Несмотря на бесправную униженность, поселяне наши были народ самомнительный, гордый.

На всякий вопрос они отвечали возражением.

— Вы что за люди? — спрашивают чугуевцев, когда их подводы целыми вереницами въезжают в Харьков на ярмарку.

— Мы не люди, мы чугуевцы.

— Какой товар везете?

— Мы — не товар, мы — железо.

На улице каждого проходящего клеймили они едкими кличками. Всякий обыватель имел свое уличное прозвище, от которого ему становилось стыдно.

Кругом города было несколько богатых и красивых сел малороссиян — народ нежный, добрый, поэтичный, любят жить в довольстве, в цветничках, под вишневыми садочками. Чугуевцы их презирали: «хохол, мазец проклятый» даже за человека не считался.

Пришлых из России ругали кацапами. Тоже, купцы курские...

— Прочь с богами — станем с табаком!

— С чем приехали?

— С бакaleyцами: деготек, оселедчики, рожочки...

Своих деревенцев из Гракова, Большой Бабки, Коробочкиной считали круглыми дураками и дразнили «магемами». «Шелудь баевый, магем мыршевой!» — ругали их ни за что ни про что. «Дядя, скажи на мою лошадь „тпру“!» — «А сам что?» — «У меня кроха во рту». — «Положи в шапку». — «Да ня влезя!»

В обиходе между поселянами царила и усиливалась злоба. Ругань соседей не смолкала, часто переходила в драку и даже в целые побоища. Хрипели страшные ругательства, размахивались дюжие кулаки, кровянились ражие рожи. А там пошли в ход и колья. Из дворов бабы с ведрами воды бегут, как

на пожар, — разливать водой. А из других ворот — с кольями на выручку родственников. В середине свалки, за толпой, уже слышатся раздирающие визги и отчаянные крики баб. И наконец из толпы выносят изувеченных замертво.

Преступность всё возрастала. И чем больше драли поселян, тем больше они лезли на рожон.

Происходили непрерывные экзекуции, и мальчишки весело бегали смотреть на них. Они прекрасно знали все термины и порядки производства наказаний: «Фуктелей!\* Шпицрутенов!\*\* Сквозь строй!»

Мальчишки пролезали поближе к строю солдат, чтобы рассмотреть, как человеческое мясо, отскакивая от шпицрутенов, падало на землю, как обнажались от мускулов светлые кости ребер и лопаток. Привязанную за руки к ружью жертву донашивали уже на руках до полного количества ударов, назначенных начальством. Но ужасно было потемневшее лицо — почти покойник! Глаза закрыты, и только слабые стоны чуть слышны...

Площадная ругань не смолкала, и не одни грубые ефрейторы и солдаты ругались, — с особой хлесткостью ругались также и представительные поселенные начальники красивым аристократическим тембром.

Начальники часто били подчиненных просто руками, «по мордам».

Только и видишь: вытянувшись в струнку, стоит провинившийся. Начальник его — раз, раз! — по скулам. Смотришь, кровь хлынула изо рта и разлилась по груди, окровавив изыщную, чистую, с золотым кольцом, руку начальства.

Скользит недовольство по красивому полному лицу, вынимается тонкий, белоснежный, душистый платок, и вытирается черная кровь.

---

\* Фуктель (фухтель) — шпага, палаш (нем.). Наказанных ударяли тяжелым фухтелем плашмя.

\*\* Шпицрутен — прут для телесных наказаний.